

МОЖЕТ ЛИ ФАРИСЕЙ ОЩУЩАТЬ БЛАГОДАТЬ?

На вопросы «открытых встреч» отвечает свящ. Георгий Кочетков

— Как Иисус Христос может говорить, что самый аморальный человек лучше фарисея? Ведь фарисеи всё-таки исполняли закон.

Свящ. Георгий Кочетков: Вы немного неверно цитируете слова Христа. Христос нигде не говорит, что самый аморальный человек лучше фарисея. Мытарь был оправдан более, нежели фарисей, потому что проявил больше смирения и оказался более морально и духовно чистым и крепким — это другой вопрос, тем более, что рассказ о мытаре и фарисее — это притча. А притчу нельзя понимать только буквально, нельзя ее переносить в область этического, так, как это делаете Вы в своём вопросе. Безусловно, фарисеи старались исполнять закон. Они это делали, может быть, не так совершенно, как это требовалось и требуется от учеников Христа, однако их плюсы не оспариваются. Если в христианское сознание и вошло однозначно отрицательное представление о фарисействе, то, во-первых, не о фарисеях, а о фарисействе, и во-вторых, только в определённом смысле слова, о котором мы говорили выше.

— Вообще, чем плохи фарисеи: тем, что у них не хватало милосердия, милости, или дело в том, что всё в них слишком рационально? Может быть, они были просто не готовы приносить Богу настоящую жертву?

О. Георгий: Конечно, ветхозаветный народ при всей своей многовековой подготовке, но и при трудной, противоречивой своей истории не был вполне готов к принятию милосердия Божьего. Но кто-то был готов. Всё-таки Церковь Христова родилась, новозаветный народ Божий родился и раскрылся начиная от Иерусалима, от иудеев, а не как-то иначе. Свойство фарисейства — это мелочная исполнительность с точки зрения буквы закона и заповеди без приложения сердца, желание говорить: «Господи, Господи» — не отдав Богу своего сердца. Но Вы ведь знаете, что такое фарисейство бывает и среди христиан, и нам нужно в первую очередь бороться своего собственного фарисейства.

Когда-то фарисеи были любимы ветхозаветным народом, евреями времён Иисуса Христа, потому что они были готовы на духовные подвиги, потому что они были готовы лучше жить по правилам своей веры. Другое дело, что то, как их направляли учителя ветхозаветной церкви, не всегда соответствовало слову Христову. Конечно, учителя были разные. Был рабби Гиллель, был рабби Гамалиил, которые глубоко уважаются и новозаветной верой (а рабби Гамалиил входит в святцы новозаветной церкви как учитель апостола Павла). Однако каждый человек знает, что существует опасность фари-

сейства, формализма, бездушия, мелочности, законничества на его собственном духовном пути. Давайте помнить об этом и делать всё, чтобы эта опасность никогда в нашей жизни себя не реализовала и не испортила нам нашей жизни во Христе. Давайте поступать по милосердию, давайте поступать не мелочно, чему и надо учиться на протяжении всей своей жизни у Христа и в Церкви.

— Может ли фарисей, исполнив заповедь по букве, а не по духу, ощущать благодать?

О. Георгий: Если бы фарисей исполнил заповедь не по букве, а по духу, он перестал бы быть фарисеем в нашем современном смысле слова, он стал бы христианином — добрым, настоящим, святым человеком, живущим любовью Христовой. Так что Господь, безусловно, дал бы ему благодать. Если мы думаем, что Бог судит по внешности, что Он не даёт благодати человеку просто потому, что один мытарь, а другой фарисей, то мы ошибаемся. Человек может рассчитывать на прощение Божье, кем бы он ни был, и нет ни одного состояния человека — тем более состояния социального или внутрицерковного — которое могло бы само по себе быть непреодолимым препятствием для силы Божьей любви, для милосердия Божьего, для Божьей благодати.

Он был на два года младше меня, мне был 21 год, а ему 19. Познакомились мы в кругу хиппи, из тех, которые тогда увлекались бардовской песней. Это был первый человек, с которым я могла на равных поговорить о книгах. Вероятно, я немного лучше знала зарубежную, а он — русскую литературу, но у нас были общие критерии. Я написала — на равных, но, конечно, многому от него научилась. Лет с 14 он начал ездить автомобилем, многое видел, и был большим реалистом, чем я. Но разговор о чести и благородстве не казался ему наивным, только он умел их отстаивать в своей жизни тогда, когда я терялась, забивалась в угол. Например, он ездил помогать после землетрясения в Армению, а я ходила взад-вперед по служебному коридору, думая, ехать ли, или я только буду мешать, болтаясь под ногами, и не зная, к кому обратиться. Он рассказывал мне, что лет в 15 как-то почувствовал, что потерял себя, и стал особенно изучать русскую литературу. В 16 — крестился, не столько потому, что глубоко в тот момент принял христианство, сколько потому, что православными христианами были любимые им герои. К моменту нашего знакомства он уже несколько устал от беспорядочности и безответственности многих хиппи, и отходил от них. Беспольные разговоры ни о чем отнимали у него время. Поэтому мне было особенно приятно, когда он пригласил меня к себе в Петербург, обещая показать город. Я приехала на несколько дней. Жил он на крохотной кухне, таким образом разделив с матерью однокомнатную квартиру (мать, кажется, готовила в комнате на плитке.) Думаю, у него было нелегкое детство, но именно это закалило его и сделало гораздо более самостоятельным, чем многих его сверстников. Школу он закончил заочно. Работал в тот момент дворником при Казанском соборе, который тогда еще именовался музеем атеизма. Я пошла с ним. Сначала он с друзьями, которые тоже работали дворниками, жизне-радостно размахивая лопатой, разгреб снег, а потом мы вели какой-то философский разговор в дворнической подсобке, заваленной мраморными бюстами (кажется, я опиралась на бюст Кутузова). Работа дворником давала ему гордое звание сотрудника музея и возможность пользоваться уникальной музейной библиотекой, куда пускали далеко не всех. При мне он получил зарплату, и, очень радостный и оживленный, потащил меня в «Букинист», где немедленно почти на все деньги купил книги. Покупал он в тот раз книги малоизвестных поэтов пушкинского круга и что-то по философии. Досталось и мне — он просто не мог праздновать один и купил мне двухтомник, по-моему, какие-то материалы о декабристах, удивившись, что я так мало о них знаю. Все это происходило зимой, у его ботинка была почти оторвана подошва, на улице мы хлюпали по смешанному с грязью снегу, но когда я осторожно напомнила об этом, он махнул рукой — ботинки в его иерархии ценностей стояли настолько ниже книг, что о них не стоило и говорить. Конечно, в этом была доля и сознательного самовоспитания. Он водил меня по Петербургу Достоевского, и мы вместе стояли на лестничной площадке, где дружил от страха Раскольников, пришедший убить старуху и услышавший чьи-то шаги. В рассказах Т. всё как-то оживало, и некоторые исторические фигуры, напудренные и довольные лица которых я видела только на портретах, вдруг обретали плоть, кровь и судьбу. Его творческое стремление к истине не давало ему впадать в ту насильственную идеализацию истории, после которой хочется отвернуться от истории вообще.

ДРУГ

Помню наш коротенький спор о Пугачеве и вообще смертной казни. Я сказала, что при всей жестокости Пугачева и на его стороне была какая-то правда, и, во всяком случае, я не понимаю, зачем было его казнить. (По поводу какой-то правды на стороне Пугачева — это, разумеется, был плод советского воспитания.) И Т. ответил мне: «Видишь ли, я очень хорошо понимаю Пугачева. Я чувствую что-то от него и в себе. И именно поэтому понимаю, что его нужно было казнить». Во мне не было, как мне казалось тогда, ни кровавого пугачевского честолюбия, ни жестокой власти Екатерины, но я знала, что в решительной ситуации Т. поступит благородней, чем я, и поэтому его слова примирили меня с этой казнью больше, чем самый подробный перечень пугачевских грехов. Вообще Т. был первым моим знакомым, в котором глубокое уважение к человеческому достоинству сочеталось с очень непоказным смирением человека перед Богом. Оттенок доброй философской иронии, с которым он часто рассказывал о том или ином историческом событии или человеке, никогда не унижал, а, наоборот, вызывал большее сочувствие к действующим лицам.

Через пару лет он поступил на философское отделение православного института, работая при этом, по-моему, кочегаром. Работа кочегаром была для него, я думаю, тем же, что для Диогена — бочка, и позволяла избежать любой конъюнктурности.

В моей жизни наступил период полной сумятицы, когда я не знала, как поступить, и я позвонила ему из Москвы, с телеграфа. Мы не могли говорить долго, и, выслушав краткое объяснение вариантов, Т. просто сказал — годится «любая последовательность действий». То есть — делать что-то одно и не менять решение на полдороге.

Но я не успокоилась, и сумятица продолжалась. Не буду описывать это здесь и не знаю, стоит ли описывать это вообще.

В 27 лет я почувствовала себя отвратительным, плохим человеком, который нуждается в немедленном исправлении. В это же время пришли мысли о крещении. Креститься мне было страшно, почему-то даже не умом, а сердцем, я боялась, что это может быть для меня полным отречением от мира, от близких людей, от надежды на обычное счастье, от себя самой. К этому моменту я вполне осознанно верила в Бога и чувствовала Его руку в своей судьбе. И я понимала, что Христос — самый умный и добрый Человек на земле, что Он — Сын Божий и, чтобы исправиться, нужно сделать то, что Он говорит. Я решила, что Т. и моя православная тетька могут стать моими крестными, и Т. приехал в Москву. Но креститься в тот раз я не решилась. К этому моменту Т. уже окончил институт, написал диплом, по-моему, о греческой философии, и не мог найти работу по специальности, которая хоть сколько-нибудь могла его прокормить, и я уговорила его пойти в московский заочный университет, где требовались преподаватели. Там ему дали список предметов, и спросили, какие из них он может преподавать. Я ждала за дверью, и, когда он вышел, заинтересовалась, сколько

он отметил в списке. «12» — ответил он. Я знала, что это не бравада. Более того, думаю, он мог преподавать все, что учил сам, и преподавал бы это объемно и глубоко. В нем не было ничего ни от халтурщика, ни от зубрилы-отличника, ему действительно было интересно все, что он учил, и хотелось разобраться самому, и, в отличие от меня, знания не выветривались у него из головы, а укладывались в систему.

В итоге, устав от своих колебаний, я крестилась без крестных. Мне хотелось иметь родителей в новом мире, но я представляла себе это как-то по-детски, слишком плотски, и что-то меня, самостоятельного человека, уже имевшего реальную мать, смущало. Все это было странно, и, наконец, я страшно рассердилась на себя за то, что меня призывает Бог, а я запутываюсь в каких-то не самых важных вопросах и медлю. Я позвонила Т. и сказала, что завтра утром крещусь, с крестными или без. Он одолжил деньги, помчался на вокзал, но не смог взять билет. А тетька пришла на мое крещение, и молилась, просто тихо стоя в стороне.

После этого я приехала в Петербург.

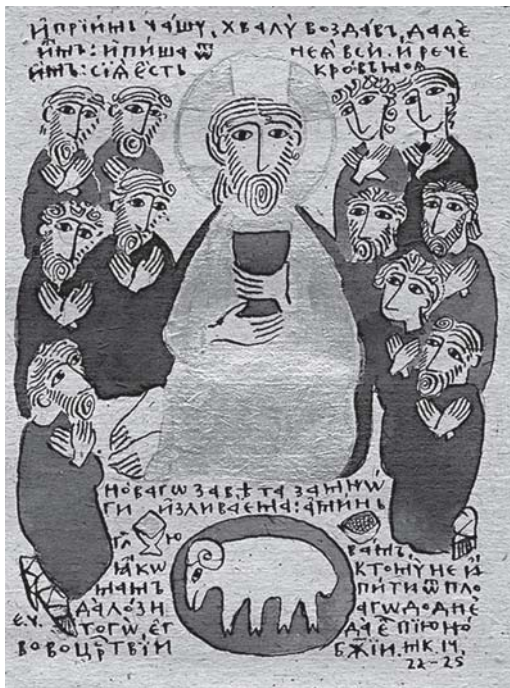
Я ехала в поезде, приглядываясь к своим чувствам и мыслям. Как жить дальше, было неизвестно, и я думала, что Т. сможет что-то объяснить.

Конечно, Т. был рад. Но я почему-то не помню начало встречи, а только продолжение дневного разговора.

Тогда только начались притеснения русских в Прибалтике. Заговорив об этих притеснениях, он вдруг выпалил, что уже готов был бежать к литовскому посольству и бить любого литовца, который попадется под руку. «При чем тут «любой литовец»?» — я пожалала плечами. То, что Т. от природы несколько выпльчив, я замечала и раньше, и тем больше ценила его умение взять себя в руки. Но я никогда не слышала от него раньше подобной нелепости. Разумеется, он и сам понимал, что это глупость, и ничего подобного бы не сделал, но как-то угрюмо отмолчался. Хотя и меня возмущало подобное отношение к русским, но, наверное, принадлежность к постоянно унижаемому народу приучила меня к тому, что внешнее унижение — лишь часть обстоятельств твоей жизни, на которое не нужно тратить слишком много душевных сил. Я никогда не ожидала, что правда воцарится на земле, и меня не удивляла очередная несправедливость, хотя я и считала должным с нею бороться. Но — «любого литовца»?... Я вспомнила цветы и фотографии на одной из улиц Вильнюса, где проехали советские танки. Мне казалось, что Т., именно потому, что он христианин, не может не понимать, что есть вещи, которые нельзя даже произносить.

Вечером мы зашли в гости к его друзьям. Говорили о чем-то маловажном, как бывает, когда приводят незнакомого человека. Почему-то хозяин дома стал перечислять, какие сорта пива продаются в Петербурге. Т. подхватил, и азартно добавлял то или другое название. Конечно, частично эта азартность была тоже данью вежливости. Но, только что приняв христианство, я воспринимала все очень остро, мне хотелось какой-то особенной, глубокой беседы, которую я сама не смела начать. Мне казалось странным сидеть, смеяться над пустяками, со вкусом обсуждать мелочи, которые и до крещения меня абсолютно не интересовали. Я и раньше тяготилась пустыми разговорами и убегала с любого застолья, а теперь у меня было чувство, что я вместо монастыря попала в светскую гостиную, где просто из

ДРУГ



Я уже не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает его господин; но вас Я назвал друзьями... (Ин. 15.15). Картина Елены Черкасовой «Тайная вечеря»

чувства приличия нельзя заговорить ни о чем серьезном. Конечно, я сама совершенно не готова была к монастырю, но ощущение какой-то нереальности происходящего не оставляло меня. На обратном пути Т. со свойственной ему вежливостью спросил меня, не возражаю ли я, если он купит бутылку пива, я, разумеется, ответила «нет», я не пила, но меня не смущало, когда пьют другие, попросту я считала, что это не мое дело. Дома мы сидели за столом, и Т. вдруг заговорил о том, как здорово было жить во времена, когда христиане завоевывали земли. Как славно сражаться за Христа. «Вот, например, Кортес...» «Но ведь ты знаешь, как он завоевывал?» - удивилась я. «Видишь ли», - ответил он, - «я просто внутренне как-то понял, увидел, что такое идола и какое зло стоит за ними». «Ну, ты же помнишь, что реально делал Кортес? Пытал, грабил, убивал... При чем тут Христос?» Я говорила то, что казалось мне настолько очевидным, что даже совестно было подумать про кого-то, что он этого не понимает. Т. снова промолчал, но я видела, что какая-то стихийная сила бродит в нем, не находя выхода. И мне стало страшно, потому что раньше я никогда не видела в нем этой стихии, и я вдруг почувствовала, что между нами пропасть, и я совершенно одна. Потом Т. сказал, что с уважением смотрит на поляков, которые тоже сейчас стараются доказать... Честно говоря, не помню точно его слов, настолько внутренне мне был непонятен их смысл. Доказать, что они какие-то особенные и в чем-то выше других...

Но утром начался новый светлый день, Т. сел за рабочий стол, а я пошла в ближайшую церковь. Подавая нищим, я впервые подумала о том, что сказал мне как-то Т. — что нищим подают не только из жалости и желания им помочь, но просто ради Христа, именем которого они просят. Был день святого Дмитрия Ростовского. Когда я вернулась, Т. спросил меня, о чем была проповедь. «Ну, вот», - сказала я, - «батюшка говорил, что когда Дмитрий Ростовский писал, неизвестные святые являлись ему и сами рассказывали свои жития». «Ну...» — Т. улыбнулся мне своей доброй и немного смущенной улыбкой, а потом все-таки добавил: «Вообще-то святой Дмитрий еще много перекачал у католиков». В тот момент это не показалось мне несовместимым, представилось что-то вроде «он переписывает, а они в это время являются».

За эти дни возникли еще две, тогда совершенно посторонние для меня, темы. Т. просто рассказывал мне о других людях. От него я впервые с изумлением услышала о русских фашистах. «Как им это удается, они считают русских избранной расой?» - спросила я. «Я говорил с ними, но у них не разберешься. Во всяком случае, уважают Гитлера». Великая Отечественная была для меня одной из немногих страниц истории, в которой в самом главном не было лжи даже в советское время, и услышанное показалось совершенно нелепым. Т., который уже всякое повидал за свою жизнь, отнесся к этому, как к некоторому курьезу, этот факт пугал его меньше, чем меня, и больше забавлял своей нелогичностью. Может быть, и потому, что в нем говорила снисходительность победителя, а я, ощущая 9 мая одним из немногих родных для меня советских праздников, днем, ради которого осталась сиротой и моя маленькая мама, при этом как-то совершенно отдельно помнила о черном дыме из труб; и оставался внутренний страх перед тем, на что способен человек. Потом как-то, говоря о православии, Т. сказал, что при нем обсуждали исключительное мессинское призвание России, и что он возразил на это, что Христос не может родиться второй раз. Мне показалось, что в лице его мелькнула какая-то тень, как будто его одновременно огорчала и неумность возражавших, и немного то, что такого призвания у России нет.

Меня удивила сама тема спора — зачем это, разве в этом дело — и то, что именно внутреннее смирение заставило Т. стереть эту тень — как будто высокому человеку нужно примириться с тем, что ему не разрешают стать на ходули — но я не стала долго задумываться над этим. Мне было как-то трудно, и я не могла объяснить, что мне трудно, я не могла быть с Т. откровенной, как раньше, как будто крещение не приблизило меня, а наоборот, удалило, потому что я потеряла право иначе чувствовать и отстаивать то, что думаю. Вместо радости, которую, я знала, человек должен испытывать после крещения, я чувствовала себя чужой и чуждой. Причиной этому, конечно, были не только разговоры, а все как будто изменившееся вокруг пространство. Высокомерный город на костях с его холодными, выпрессно украшенными дворцами, серыми обшарпанными стенами дворов-колодцев и тоскливым сырým воздухом, с измученными поэтами, которых я любила за чистоту звука, и строго покаянную зрелость, пропускающая мимо ушей их привязанность к сомнительным эффектам в юности, все, что я раньше уважала — а уважение для меня всегда было особой формой любви — как чужое, а теперь страсти Достоевского, от которых раньше я была защищена чувством обычности, самой обыденной порядочности, вдруг требовательно нахлынули на меня, как будто я обязана считать их своими. Славная история, пропахшая кровью, в которой я, как ни пыталась мысленно пристроиться, не находила себе места — ни среди философов, гулявших по Италии («быть можно дельным человеком и думать о красе ногте»), ни среди милых дам, занимавшихся благотворительностью без ущерба для светской жизни. Всех их я уважала, но они не принимали меня к себе. Единственное место, которое я смутно видела для себя, чудилось мне местом спящей на земле монахини, или юродивого, о которых я

ные мечи. Но главной для меня была глава о достоинстве человека. Она была страшной, и я узнала привычный мне страх, но вдруг поняла, что нет в нем никакого унижения. Убивавшие друг друга и себя мускулистые герои произносили пышные речи к окружающим их друзьям и рабам, презирали жизнь и земные привязанности, и умирали мужественно и красиво. А в другой стороне люди умирали от пыток, при которых уже ничего нельзя было произнести, и никто на них не смотрел, не слушал, никто не придавал значения их рабской смерти, и не было никакого величия в истерзанной плоти, но это не называлось унижением, больше не вызвала презрения внешняя слабость, а важно было только, что ты любишь и веришь. Я читала о знакомых мне вещах, о великодушных рабах, и мир внешнего насилия впервые уступал миру внутренней свободы не в мечтах, а в реальности, потому, что этого хотел Бог-ребенок, три морщины на высоком лбу которого оставались бесцеремонное движение навстречу, но как будто просили о верности и защите. Дети и старики, привычный для меня мир униженных и слабых — именно слабых, а не оскорбленных, потому что для оскорбленности нужно иметь гордость, которой у них нет, — обретал защиту, и ничего в нем не менялось, кроме выражения глаз. Не нужно было никаких внешних чудес, никто не купался в кипящем молоке, чтобы снова добрым молодцом вскочить на коня, менялся только взгляд на то, что вокруг, и от этого взгляда менялся мир. Ничто внешнее не может унижить, и только внутреннее бесценно.

— Т., — спросила я, — что это за книжка?

— Аверинцев, литературовед, христианин — ответил он. — Это его диссертация, которую он назвал так, чтобы не придирались, защищал еще в советское время.

— Слушай, — попросила я, — дай мне почитать.

— Знаешь, Олюшка, ты прости, но я эту книжку никому не даю. Я ее из запасника библиотеки в Казанском выгасил, ее сейчас нигде не достанешь.

Я поняла, что Т. пришлось выработать некоторую защиту от добродушных прежних друзей, которые, легко делись своим, так же легко забывали отдать чужое.

Сказано было четко и возражать неудобно, ведь эта четкость и прозвучала для того, чтобы прекратить невольный для обоих разговор. Доказывать, что верну — глупо, Т. знал меня достаточно и мог решать сам.

Как-то так я с тех пор изменилась, что мне даже трудно теперь понять, почему мне стало тогда так обидно и больно, как будто мне не дали что-то мне точно положенное и обещанное. Я так искренне хотела найти что-то близкое лично мне в этом новом мире, и вцепилась в эту книжку, как будто из нее звучал для меня голос друга. Голос прежнего Друга, который как будто был со мной в старом мире, а потом спокойно перешел в новый, не изменившись, а просто стал могущественным, обрел реальную силу и теперь мог меня защитить, воплотился в этих спокойных и логичных оборотах мысли, которые от того, что, наконец, сформулированы, обрели силу. Я села читать, ведь Т. сказал, что ее больше нигде не найти. Это было первое, что я могла принять в новом мире для себя. Т. позвал меня обедать, мы поговорили, потом нужно было идти на вокзал, вышли немного раньше, решив пройтись. Как-то не клеились у нас в этот раз разговоры, когда-то радовавшие, как мне казалось, обоим, а ведь раньше было столько вещей, которые только с Т. можно было обсудить. «Олюшка», — сказал вдруг Т., — «время еще есть, давай зайдем». Мы зашли в какой-то странный книжный магазинчик, воздух которого был пропитан пряным восточным ароматом. «Ты посмотри тут», — сказала Т., — «а я кое-что забыл, сейчас быстро сбегаю и вернусь». Я осталась, подошла к книжным полкам, с некоторым недоумением огляделась. Это был магазин так называемой «духовной литературы», где продавалось все без разбора — на стене висела икона, а обложки некоторых книг смотрели сидящие в неудобных позах йоги, от названий пахло безвкусно-возвышенной бессмыслицей, и я удивилась, что Т., так легко всегда отличавший подделку от подлинного, завел меня сюда. Кроме того, ждать пришлось дольше, чем я думала. Наконец, Т. просунул лохматую голову в дверь, и я вышла. «Олюшка», — сказал он, горячо и от этого неловко тыча мне книжку в бумажной обложке, — «возьми насосер, я тебе дарю». И добавил, все еще отходя от рассерженности на себя, что-то вроде: «Если я еще буду привязываться к книгам...» Что-то оттаяло в животе, как будто рассосался холодный ком, и стало тепло. На глазах выступили слезы, которые я постаралась удерживать и скрывать. Странно, но то, что Т. сделал это ради невидимой тогда, но ощущаемой мною руководящей им высшей силы, именно той, которая подвигла меня к крещению, не меньше, если не больше, чем от желания обрадовать меня, тронуло меня гораздо сильнее, чем если бы он просто подарил мне книгу по старой дружбе. Я поняла, как мне все это время хотелось увидеть христианина. Чтобы не слукавить, напишу, что, может быть, мне хотелось, чтобы кто-то поступил по-христиански по отношению ко мне. Я пробормотала, что, конечно, прочитаю и верну. Но по степени его внутренней рассерженности я увидела силу бывшей привязанности, и подумала, что, наверное, этот поступок для него действительно драгоценней, чем книга. У меня снова был старший друг, более мудрый, сильный, и в то же время какой-то обезоруженный своей верой, и от этого более беззащитный, чем я.

Ольга СЕРЕЙСКАЯ